



Один из уродцев теперешнего языка московитов — слово иммиграция. В хорошие времена это по-русски был преимущественно зоологический термин. Применять его к людям огульно стали только после краха Совдепии, но в своём новом качестве он — по происхождению и сущности — чисто советский.

Всегда и всюду люди, по разным причинам навсегда покинувшие родину, назывались эмигрантами, и только в Совдепии, по недостатку общей культуры, утвердилось, спасибо большевикам, и в целых трёх поколениях удержалось смутное представление о том, что эмиграция — непременно что-то очень дурное, чуть ли не измена родине (последнее слово у большевиков полагалось писать с прописной буквы). И вот, когда Совдепии не стало, а эмиграции никто больше не препятствовал, новые эмигранты, имя же им легион, инстинктивно решили отгородиться от неприятного слова — слышали звон, да не знали, где он! — и назваться иммигрантами.

Подсказка пришла сверху. В западных странах, где языки устроены иначе, иммигрантами пришельцев называют правительства, но для правительства ты одно, а для себя — другое!

Чтобы понять, как это новшество глупо и пошло, попробуйте назвать иммигрантами Бунина и Цветаеву, Набоковых и Троцкого.

По-русски — те, кто называет себя иммигрантами, в сущности приравнивают себя к животным.

14.01.25



Читаю умный и хорошо написанный текст (спасибо А.Т., мне его приславшему), натываюсь на слово элитный — и дальше читать не могу, бросаю чтение с отвращением.

Зачем умному и образованному автору уродовать родной язык? Ведь

это словечко — типичный американизм, обезьянничанье, угодничество перед чужими.

По-русски (и на всех языках, имеющих грамматический род) элита — слово женского рода. Всякому грамотному человеку ясно, что русское прилагательное от него — элитарный, не элитный. Так и было всегда, двести с лишним лет, с тех пор, как слово элита стало обиходным. До так называемой перестройки и вождельных свобод — уродливого словечка элитный (применительно к людям) в русском языке не было.

Но в 1990-е годы молодые недоучки начали в слепом азарте бездумно переносить в русский язык английские слова (в американском произношении). По-английски нет грамматического рода; в слове elite последняя гласная абсолютно немая (чего не бывает во французском), отсюда и пошло это уродливое верхоглядство в языке русском.

Добрые люди спросят меня: а как же со словом монета и устоявшейся конструкцией монетный двор? На это отвечу, что упомянутая конструкция — старше русского языка карамзинистов, который был и остаётся родиной для думающих людей моего поколения. Отвергая уродливое и ненужное словечко элитный, я защищаю родину.

3.02.25

◇ ◇ ◇

...ты спрашиваешь меня о стихах М***. Они меня не порадовали. Московский способ рифмовки я отверг ещё в 1972 году. Позволительно спросить: как людям не надоело? Ведь вот уже больше ста лет юродствуют, упиваясь ассонансной рифмой, зачастую уродливой, а то и изысканно уродливой! Подобное отношение к рифме — свидетельство душевной пустоты, измена самой сущности поэзии.

И каких уродцев ни нагородили: бургомистру/выстрел (Цветаева), крылечку/кромешный (Евтушенко), чирикала/чернильница (Соснора). С лёгкой руки футуристов и их последователей и начался теперешний упа-

док поэзии.

Подлинная поэзия преспокойно обходится без рифмы, которая — всего лишь один из элементов звукописи, в поэзии обязательной. Другая отличительная черта настоящей поэзии — естественность интонации. Рифма, когда она есть, должна быть естественна, то есть *проста, точна и предсказуема*. Самая естественная рифма в русском языке — глагольная. Она и должна преобладать. В подтверждение моих слов привожу давнее свидетельство, произнесённое в 1921 году одним из умнейших и культурнейших людей своего поколения, поэтом и критиком Георгием Адамовичем (1892-1972):

Нам в юности докучно постоянство,
И человек, не ведая забот,
За быстрый взгляд и лёгкое убранство
Любовь свою со смехом отдаёт.

Так на заре весёлой дружбы с Музой
Неверных рифм не избегает слух,
И безрассудно мы зовём обузой
Поэзии её бессмертный дух.

Но сердцу зрелому родной и нежный
Опять сияет образ дней живых,
И точной рифмы отзвук неизбежный
Как бы навеки замыкает стих.

Прекрасные стихи! И веское свидетельство поэта, прошедшего огонь и воду первой эмиграции.

9.02.25

ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

С некоторой оторопью я, «русский по крови» (моя мать — из ярославских крепостных), на днях осознал, что я — еврейский писатель. Жаботинский говорит: еврейский писатель тот, кто пишет для евреев, на каком бы языке ни писал. А я был выращен в сознании, что я русский, и никакого языка, кроме русского, не знал и не слышал, поэтому случившееся осознание — новость самая для меня неожиданная.

В детстве, лет этак до двенадцати, я думал, что пишу для благодарного человечества. В молодости я догадался, что обстоятельства места, времени и моего скромного дарования существенно ограничивают число моих вероятных читателей. Я стал чувствовать себя русским и (на какое-то время) даже советским писателем.

Советскость довольно быстро прошла, а русскость удержалась. В Израиле, а потом и в Британии мне всё мерещился краешек стула в Великой Русской Литературе. Великость русской литературы, однако ж, тоже вскоре рассеялась, как дым. Что это за великая литература, которая держится на двадцати именах и длится полтора столетия? Настал момент, когда и почётное кресло в этой литературе перестало быть для меня привлекательным. С 2009 года я не даю ни строки в одну отдельно взятую, ставшую мне совершенно чуждою, а при этом, как и в детстве, чувствую, что пишу для всех, только звучит это теперь иначе: для себя.

И вот, с оторопью, но и с удовольствием, я вдруг увидел, что большинство моих читателей — евреи. Почему с удовольствием? Хотя бы уже потому, что евреи — народ памятный, а русские — беспамятный. Это ведь невозможно отрицать: биологическое задание любого существа, от букашки до человека, состоит в том, чтобы оставить по себе след, генетический, если ты букашка, генетический и нравственный, если ты человек, — остаться на какое-то время в памяти, хотя бы генетической, себе подобных. Отсюда и моё удовольствие. В Треблинку — пойду с евреями. Умирать лучше среди своих.

Евреи — народ книги. Эпоха книги прошла, но эпоха евреев и не думает кончаться. Мне даже кажется, что она кончится не раньше, чем кончится человечество.

23.02.25

◇ ◇ ◇

...ты говоришь, что мои нынешние стихи совершенно не похожи на то, что теперь пишут. Я и сам это вижу. И думаю, что это неплохо; писателю пристало изменяться, не изменяя себе. Давно ведь уже сказано (кажется, Шестовым), что обретение писателем своей манеры есть конец писателя.

Добавлю, что и на мои прежние стихи стихи теперешние мало похожи. Вижу — и не огорчаюсь. Довольствуюсь выпавшей мне обочиной. Во-первых и в-главных, мне — всё равно; пребываю, по Боратынскому, в равнодушии высококом. Кроме горстки друзей — не нужен мне никакой читатель, ни нынешний, ни провиденциальный (который будет ещё хуже нынешнего). Живу как умею. Доживаю своё. Записываю, что мне диктуют. Радуюсь услышанному. Поражения от победы не отличаю.

А во-вторых — у меня надёжный щит, надёжный пример: поздние стихи Мандельштама (которые мне совсем не по душе). Вот уж кто ни на кого не был похож — до полной неуместности и неумелости. Казалось, что так писать нельзя. Казалось не только Фадееву и прочей сволочи, казалось очень разным людям даже и в поздние советские годы. Хорошо помню: в 1970 году все вокруг меня говорили только о Мандельштаме. Его запрещённое имя было поднято необычайно высоко, и притом теми, к кому прислушивались. Мандельштам ходил в рукописях, а рукописи, полные опечаток и неподтверждённых вариантов, мы получали для копирования на одну ночь.

Оторопь моя от первых попавшихся мне поздних стихов Мандельштама была полная, подспудный протест — непреодолимый, приятие —

условное, временное («потом пойму»). Кто примет и полюбит текст, требующий расшифровки? К чему он? Когда человеку есть что сказать, он скажет это с полной доступной ему простотой, «с последней прямой». И — как человек рифмует! Встречаются рифмы «современные» (хоть уже и надоевшие своею современностью; вроде умирать/вчера), встречаются и «новые» (прямо уродливые; вроде умрёт/пирог), но преобладают — самые простые, глагольные, деепричастные (волнуя/даруя), — и в 1970 году я спрашивал себя: разве это *ещё* уместно в нашей-то современности? То-го, что современность имеет, что называется, обратный ход, что мода на уродства — преходяща, а новизна эстетически нейтральна — этого я, уж тогда открыто объявивший, что держусь консервативной эстетики (смелость, между прочим, небывалая!), до конца не понимал.

Естественно, я понимал, что в 1930-е Мандельштам жил из последних сил, чувствовал свою человеческую обречённость, хуже того: свою обречённость поэтическую, свою ненужность «новому миру». Это позволяло мне без пренебрежения смотреть на его явные неудачи — вроде строфы:

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или ещё что-нибудь.

Не похвалю этого четверостишья и теперь. Разумеется, оно — антисоветское уже одним словом *тюрьма*, всё в нём определяющим и смысл его объясняющим. Ужас и «ворованный воздух» — тут, от этих стихов страшно, — но нельзя не видеть, что птица и старуха — образы случайные, проходные, а от последней строки, от этого *что-нибудь* невозможно не почувствовать отталкивания — так это беспомощно в поэтическом отношении. Что-нибудь — это ведь что-нибудь, и только! Да плюс к тому рифма приторная и примитивная, на общем корне построенная. Сейчас я знаю, что однокоренные рифмы очень возможны (как в первой строфе

Онегина), а иногда и блистательны («А что же делает супруга / Одна в от-
сутствии супруга?»), но и теперешнее моё понимание говорит мне, что в
поэтическом отношении эта строфа — слаба.

В 1970-м — понимания мне ох как не хватало!

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей —
Звёзды живут, канцелярские птички,
Пишут и пишут свои рапортнички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать,
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Признаюсь без стыда: я не сразу понял, что колючие ерши, они же
рапортнички, — это доносительные критические статьи раповцев, и что
ночь тут (с её «чёрным советским бархатом») — время сочинения статей,
днём-то раповцы другим заняты: борьбой самой непосредственной.
Слово *верже*, отсутствовавшее в бытовом языке, заслоняло для меня по-
лицейскую бумагу, связь между рапортничками и полицией ускользала от
меня. А вот жуткая канцелярская формула — *подать заявление*, ныне
слух режущая, — ничуть не тревожила моего воображения, была
повседневной нормой. Вся вторая строфа казалась мне пустой, проход-
ной: что это за рифмы: мигать/подать, тленье/разрешенье! Так и восьми-
классник может. Мне, уже открытому консерватору, всё ещё чудилось,
что рифма вовсе без изыска — легковесна.

Вот и скажу ныне себе-тогдашнему «с последней прямотой»: изобре-
тательство и новаторство в рифме — не рифмуются с душевной жизнью,
опровергаются ею. Рифма должна быть проста и точна, незаметна и
опрятна, исполнительна и предсказуема. Она должна быть естественна,
то есть в пяти случаях из десяти — глагольна. Намеренный поиск но-

визны есть измена искусству. Отказ от простодушной, без изыска, рифмы — измена поэзии.

28.05.25

◇ ◇ ◇

Что происходит с «носителями языка»? Не ума ли они рехнулись? Английскую конструкцию Artificial Intellect эти растратчики переводят как Искусственный Интеллект, — отчего не Искусственный Разум? Тут ведь редчайший случай полного смыслового совпадения. Слово стол переводится на английский тремя словами: table, desk и bench, а intellect и разум — в точности одно и то же, тут ни малейшего смыслового отклонения не имеется. Но нет, молодчикам неймётся! Привыкли обезьянничать — и остановиться не могут. Они именно растратчики. Величайшее природное богатство страны — язык карамзинистов и Пушкина — пущено с молотка.

7.06.25

◇ ◇ ◇

Июнь кончается, и никто, кажется, не вспомнил Зою Эзрохи.

Эзрохи умерла в конце июня 2018-го. Кто она такая? Почему её нужно помнить?

Зоя Эзрохи была изумительным русским поэтом... Нет, я без дураков скажу: она была изумительной поэтессой. Великую Сапфо ведь, кажется, никто покамест не посмел назвать поэтом. Две с лишним тысячи лет называют её поэтессой, и от этого она не перестала блистать. Ахматова, сколько я помню, первая додумалась называть талантливых поэтесс — поэтами. Нелепость! Ей в голову не шло, что это сексизм: что этим она ставит мужчину выше женщины.

Я не ставлю мужчину выше женщины. Я говорю об Эзрохи. Если бы своеобразие, как некоторые думают, было главным достоинством поэта

или поэтессы, Эзрохи стояла бы изрядно выше Ахматовой, да вряд ли и Пушкину бы уступила. Что я этим сказал? Я сказал, что своеобразие не есть ещё талант. Я больше скажу: гениальность, если мы не ума рехнулись, не есть степень таланта. Гениальность есть одержимость. Она очень часто присуща людям неталантливым и прямо бездарным: классические примеры — Хлебников и Циолковский, оба в своём деле бездарные, но гениальные.

Эзрохи была и талантлива, и гениальна. Почему она не стоит в нашем сознании в одном ряду с Шекспиром, Мицкевичем, Пастернаком? Не потому, что я ляпнул глупость насчёт её гениальности. Её гениальность несомненна для тех, кто любит и понимает поэзию. Эзрохи потому никому не нужна и всеми забыта, что на её поколение (на моё поколение) пришла своеобразная и никогда прежде не случавшаяся катастрофа. Катастрофа единственная в истории человечества. Катастрофа бесповоротная: на наших глазах поэзия из священнодействия разом стала кривлянием. Она обесценилась в один час, из алмаза стала стражом. На протяжении тысячелетий такого некому не грезилось — и вдруг разом свершилось. Тысячелетиями поэт и пророк стояли рядом, так и в моём детстве было, — и вот на глазах одного только нашего поколения — поэт стал паяцем.

Не говорю, что произошло нечто неправильное и непредвиденное. Все искусства связаны с алтарём, все умирают без Бога, а Бога с каждым веком и с каждым часом становится в нашей жизни всё меньше, отрицать это бессмысленно. Говорю другое: после 1968 года на людей, любящих поэзию и другие искусства, катастрофа обрушилась как лавина и всех нас раздавила. Год 1968-й, рядом с культурой поставивший поп-культуру, — вершина в отрицании Бога в истории человечества. Он похоронил тысячи талантов и гениальностей, среди них — и Зою Эзрохи.

29.06.25



На пороге дни, когда не то что осведомиться, а помыслить о половой принадлежности собеседника станет непристойностью. Наступит долгожданное равенство. Половое влечение прекратится, а с ним — и человечество. Вот это и будет библейский Армагеддон.

23.07.25



Всю мою жизнь я повторяю: регулировать, регулярно, автоматическое регулирование, — и только сегодня меня осенило, что все эти слова в европейских языках — от имени Марка Атилия Регула, совершившего невероятное: не изменившего, слову данному врагам. Изменить он мог без труда. Вся логика, весь здравый смысл и самая польза для отечества подсказывали: изменить! Регул, взятый в плен, был отправлен из Карфагена послом в Рим с предложениями по обмену пленными, которые, оповестив о них сограждан, он посоветовал римлянам отвергнуть. В Риме семья и сограждане умоляли бывшего консула остаться дома, а он — вернулся в Карфаген, ибо таково было данное врагам слово. Вернулся, прекрасно понимая, что обрекает себя на мучительную смерть.

Эта судьба, эта легенда — вот квинтэссенция римского величия. Другого такого Регула, другого такого Рима — не было под солнцем.

13.08.25



Антисемитизм возводят к первому веку новой эры, ведь так? Или я забыл что-то важное? До этого — иудеи были для всех и для себя народом среди народов. Но вот другая точка отсчёта: пунические войны. Рим покорил несчётное число стран, народов и племён, но лишь два города ему потребовалось стереть с лица земли: Карфаген (Кфар-Хадаш) и

Иерусалим, оба семитские. В ненависти Рима к Карфагену чувствуется нечто иррациональное, идущее дальше пользы и здравого смысла. От Карфагена римляне не оставили ничего, кроме имени. Там несомненно были учёные и поэты, — и всё, ими сделанное, пропало. Разве так римляне поступили с греками? Вовсе нет, они, покорив греков, покорились греческой культуре. Иерусалим возродился по недосмотру римлян, а от великого Карфагена осталась только легенда. Выходит, что римляне были первыми антисемитами. Разве нет?

13.08.25

◇ ◇ ◇

Назовём трёх самых славных людей в мировой истории. Можно ли сомневаться, что это Александр, Цезарь и Наполеон? Не Гомер, Данте и Шекспир. Не поэты, а полководцы. Как странно! Не вздор ли это? От поэтов остались непреходящие культурные ценности, от вождей — только легенда о них. Что мы ценим в человеке?

Но вот и мыслители говорят нам то же: полководец выше поэта. Ля-Рошфукой произносит это без объяснений — как нечто само собою разумеющееся. Гвиччардини объясняет: нет миссии, требующей от человека большей совокупности талантов, чем миссия полководца. Тут и пророческая прозорливость, способность угадывать и предчувствовать действия противника, и ответственность за судьбы людей и страны и — в этом же ряду — умение ежеминутно решать тысячи самых бытовых, практических вопросов. Кем нужно быть, чтобы управлять армией? Гением. Даром что эта гениальность встречается так редко...

12.09.25

◇ ◇ ◇

Спасибо Вам, ***, на добром слове. Вот уж не думал, что Вы — моя читательница.

Что до стихотворения Ахматовой «Сердце бьётся ровно, мерно...», которое, по Вашим словам, многие считают лучшим у неё, то в нём замечательны последние пять стихов:

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра... ,

притом не столько смыслом («Ты свободен, я свободна»; слово свобода всегда сообщает стихам воздух), сколько звукописью. Поэт изображает звуком не в меньшей мере, чем смыслом. Вслушайтесь, как взаимодействуют звуки в «Над Невою темноводной» (д-н-в, затем в-д-н, и эти четыре минорные О — тут прямо баховский орган звучит!); и в стихе «Императора Петра» (п-р-т, затем п-т-р, да плюс три ра, ударное, безударное и опять ударное, — не сарабанда ли это?). Несколько слабее по звуку стих «Под улыбкою холодной», но и здесь — симфония, достигаемая взаимодействием двух Л в середине и двух «од» в начале и конце.

Эти пять стихов — сами по себе замечательное стихотворение, более значительное, чем всё стихотворение в целом и семантически почти не связанное с предшествующими шестнадцатью стихами (где ещё не совсем ясно, что любовь лирической героини — в прошлом). Вся связь тут, притом слабая, — Галерная улица, которая аркой смотрит на статую Петра. (В моё время Галерная называлась Красной, и там была одна из моих котельных.)

Но даже прекрасная концовка не делает это стихотворение шедевром, поскольку ослаблена другими стихами. Попросту плох первый стих, где бросаются в глаза две недопустимые ошибки. Во-первых, слова «ровно, мерно» сливаются, превращаясь в «равномерно», а это слово в лирических стихах не годится, оно — механический термин. Во-вторых и в-главных, немедленно всплывает стих «Пустое сердце бьётся ровно», и хоть

сердце разлюбившей женщины и пусто, но это совсем не та пустота, какую Лермонтов усматривает в сердце Дантеса. Рифма веки/навекки кажется приторной даже мне, признающему только точные рифмы. Веер — намеренная предметная нарочитость, за которую Ахматову при первых её опытах похвалили (уж очень высокопарны и беспредметны были её предшественники символисты), и она начала ею злоупотреблять. К чему тут веер? Припоминаю, как были высмеяны её знаменитые стихи «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки»: какой-то блокадник написал «Я на правую руку надела / Валенки с левой ноги». Отмечу композиционную ошибку: в классическом строфическом стихотворении, построенном на катренах, строфа в пять строк всегда кажется слабостью, вызванной нехваткой мастерства. Словом, при откровенно плохом первом стихе следующие пятнадцать — ничем особенным не замечательны, вот и выходит, что в целом это стихотворение — что называется, хорошее, но никак не более того.

21.09.25

◇ ◇ ◇

...Вы, ей-богу, смешите меня! Неужто Вы думаете, что я хоть на крохотную секунду пекусь о моём месте в «Великой Русской Литературе»?!» Вот уж чего нет и в помине! Она мне — чужая, вот что на поверку вышло. Да вряд ли и великая, при всех её львах Толстых и тиграх Достоевских. Что такое русская литература рядом с французской, английской, германской? Смешно и спрашивать!

Что до меня-любимого, то нет у меня и мысли о пресловутом «провиденциальном читателе», особенно русском. Это всё проехало, это — история. Не нужно мне этой сомнительной чести. А что до стихов, которые из меня сыплются, как горох, то я за это не отвечаю, это физиология. Нормальный человек самовыражается обыденной речью и прозой, мне естественнее понимать себя (и Бога, в которого я не верю) через ритмы и риф-

мы — только и всего. Такие люди и до меня случались. Я — в хорошей компании.

29.09.25

◇ ◇ ◇

Пишу ей: «Что с Вами происходит? Ваше поэтическое дарование несомненно, Ваши стихи замечательны, — зачем же начинаете строку со строчной буквы вместо прописной?» — В ответ получаю что-то невразумительное: «Нельзя быть старомодным, я — современный поэт, так теперь принято, иначе никто не пишет...»

Что ж, по русской пословице: гляди на слепого — коли себе глаз. Не продолжаю с нею разговора. Вижу, что не поймёт. Угодничает перед чернью, как «все». «Никто» — для неё авторитет. Держит нос по ветру.

Но тебе, раз уж ты про неё спрашиваешь, скажу: этот, казалось бы, пустячок — строчная вместо прописной — лакмусовая бумажка, обозначающая упадок искусства, измену поэзии. Нет и никогда не было современного искусства. Современность в эстетике — жупел, языческий фетиш. Во времена высокого искусства художник служил триединому началу истинны, добра и красоты, ему и на ум не шла современность, уж не говорю новаторство. Есть и всегда было — искусство и фиглярство, профанация. Эти теперешние «все» спиной повернулись к Данте, Шекспиру, Пушкину, — и открыли объятия дыр-бул-щылу. Что ж, пусть потешатся! Скатертью дорога!

8.10.25

ПРОЕКТ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОВАЛОМ

Говорят от Петре Первом — и забывают главное: он был христианином. Забывают — и не понимают главного в его подвиге: Московию (под новым именем России) он вернул в семью европейских *христианских* народов.

Московия допетровская ни к какой семье народов не принадлежала, её стержнем был изоляционизм, а тут — она встала рядом с Голландией, хоть, разумеется, и не дотянулась до неё. Веротерпимость, неслыханная в Московии, была главным звеном в политике Петра. Пётр не окно в Европу прорубил, а ворота туда распахнул и сказал: милости просим! На основе тех, кого он привёз и пригласил, возник русский народ. Чтобы увидеть это со всею наглядностью, достаточно вспомнить, что два самых знаменитых русских поэта — прямые потомки известных по имени иностранцев. (Да-да, Лермонтов — потомок допетровского иностранца, но петровская политика отдельными слабыми всплесками начиналась до Петра.)

Уже в XIX веке русский народ, созданный Петром, в культурном отношении поднялся из ничего и встал в один ряд с большими европейскими народами. Не перечисляю великих русских с европейскими корнями. Нельзя не видеть, что их много. Напомню только, что *фамилии* Чайковский и Менделеев не русского происхождения, при всей несомненной русскости их носителей.

Этот XIX век был и остаётся первым и единственным великим веком России. Не идеальным, понятно; ох, далеко не идеальным. Одна из роковых ошибок этого века состояла в том, что русский народ провозгласил русским народом русское простонародье. В этой ошибке была благородная жертвенность. Вот как она виделась Толстому: вчера было стыдно выезжать иначе как четвёркой цугом, а сегодня стыдно, что горничная за тобою ночной горшок выносит. Завершилась эта жертвенная ошибка дикими жестокостями гражданской войны и ГУЛАГа. Русское допетровское простонародье прослышало, что оно — народ, и расправилось с русским народом — расправилось знаменитым философским пароходом 1922: отправило русский народ обратно в Европу.

Но — не до конца расправилось. На протяжении целых семидесяти лет в Совдепии ещё жили (под страхом расправы) русские люди, жива ещё была если не Россия, то мечта о России. Носителем этой мечты —

русским народом Совдепии — была русская интеллигенция, пресловутая прослойка, одинаково ненавистная простонародью и власти. Москва приглашала: «партия и народ едины», и это была сущая правда: власть и простонародье были едины в своей ненависти к остатками русского народа, к русской интеллигенции (где опять, как при Петре, стали очень заметны инородцы, всегда выступающие ревностными хранителями усвоенной культуры).

К чему всё это? А вот к чему: Малюта Скуратов вернулся. Изоляционизм возобновился с небывалой силой. Нынешняя Московия — больше чем когда-либо «одна отдельно взятая». А вот и причина: по правдоподобным сведениям, поступающим из этой Московии, можно заключить, что, при изрядном наличии интеллектуалов, интеллигенции там больше нет. То есть: с русским народом — покончено. Тем самым — покончено и с петровской Россией. На глазах нашего поколения петровский проект завершился полным и бесповоротным провалом. Подтвердились знаменитые слова Вейдле: «Россия не удалась!»

23.10.25

АНТИРАБИН, или МОЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Вижу во сне и наяву восемнадцатый дом по Большому проспекту Петроградской (Петербургской) стороны, громадное строение начала XX века, пять высоких этажей. Архитектура — модерн, ар-нуво... или как его там? Вся Петроградская сторона такая. Построено на совесть. Три раза изменилось имя города и имя страны, а дом стоит.

Есть в доме жилая часть. Парадная лестница — тут заплачешь. И я плакал. На пятом этаже, в многолюдной коммуналке, жила моя одноклассница, с которой я связывал выход в космос, в космические дали... Сохранилась прорва стихов.

Та часть здания, что выходила на Пионерскую улицу (да-да, на Пионерскую!), была коммерческой: там до прихода гегемона находилась школа. Она осталась школой и при гегемоне. Моя школа! У меня потом

ещё две школы были, и каждая не без воспоминаний, но только первая — моя. Каждого одноклассника вижу семьдесят с хвостиком лет спустя, — не чудо ли? С учителями — труднее. Химию преподавала Вероника Аполлоновна. Да-да, именно так! Если ученик ошибался, она говорила ему: «Ты в здравом уме и памяти?» Английскому языку учила Вера Стефановна, природная британка (отчего школа именовалась школой с углублённым изучением английского). Похоже, что из всех учеников Веры Стефановны английский пригодился только мне. Смутно вижу лица ещё трёх: учителя пения, учителя математики (Исаак Самуилович Гишинский) и учительницы биологии.

По слухам за десять лет до меня в моей школе учился и окончил её (естественно, с золотой медалью) поэт Александр Кушнер. Слухи эти ставлю под сомнение: не английский, а французский язык Кушнер вынес из школы. При мне двумя классами старше учился в моей школе (естественно, без отличий) другой поэт, Виктор Кривулин, но окончил он, сколько я знаю, 66-ю школу. Не совсем кстати всплывают в памяти стихи москвича Владимира Соколова: «В сто семидесятой средней школе, говорят, учился Павел Коган. Там меня учитель тоже школил... Павел, я взволнован и растроган!»

Когда всяческие теперешние автоматические вопросники в нормальной стране (я доживаю в нормальной стране) пристают ко мне, предлагая в качестве памятного слова назвать имя моей первой школы, я с непонятным душевным подъёмом пишу: 52. Вот её имя! Только номер, но, боже правый, сколько переживаний!

Потом, много после меня, школьная часть здания пошла под другие нужды, а школа с памятным именем переехала в глушь, обнаружилась где-то в Новой деревне: советское здание, дощатые полы... а в моей-то школе полы были паркетные, самого добротного добольшевистского паркета, натёртые до блеска!

И вот ещё удивительнейшая добольшевистская особенность: директор школы входил в школу не как все, не с парадного подъезда (очень парадного! ох, как хороша была лестница!), а — вообразите на секунду! — прямо из своей квартиры на третьем этаже: дверь из квартиры директора

— вела в школу! Мне в этом чудилась какая-то непристойность...

Звали директора Иван Яковлевич. Лица не помню, вижу только лысину.

В самом начале 1950-х годов появились первые советские телевизоры... — нужно ли их описывать? помню КВН-49, это было нечто!... — и в связи с этим явлением Иван Яковлевич внёс своё имя (увы, без фамилии!) в историю русской культуры, сказав на родительском собрании в школе:

— Телевизор — это антирабин! — В том смысле, что дети не уроки готовят, не работают, а телевизор смотрят.

Каков термин! Сам-то вальжанный Иван Яковлевич не был ли, случаем, антирабином? Или рабином?

2.11.25

ЗАКЛЯТИЕ СБЫЛОСЬ

Меня спрашиваю: когда родной город стал для меня чужим? Отвечаю: когда Бармалеева улица стала улицей Бармалеева. Теперешние и разницы не чувствуют, не то что истории не знают. Теперешние утратили живую связь с русским языком русских людей.

Конструкция *Бармалеева улица* означает по-русски: улица Бармолея. Она так названа в честь Бармалея, шотландца Бармли, чей дом находился за городом, на Петербургской стороне (сторона означала предместье, пригород, выселки). Бармалей Корнея Чуковского возник из правильного названия улицы. Конструкция *улица Бармалеева* ничего не означает: никакого Бармалеева никогда не существовало; название это абсурдное, бессмысленное.

Названий типа Бармалеевой улицы в Петербурге было несколько. Несколько удержалось: Тучков мост, Аничков мост. На Аничков мост были посягательства. Безграмотный Гоголь, человек со вздорными амбициями, но без родного языка и культуры, не понимавший ни Петербурга, ни России, называет мост Аничкиным, и эта глупость, литературоведами

возведённая в художественный приём, была подхвачена недоумками и едва не стала нормой, против неё пришлось бороться до первого десятилетия двадцатого века.

Петербург был построен другим народом для другого народа, не теперешними для теперешних. Теперешние сделали город безобразным, уродливым. *Петербургу быть пусту* — это пророчество сбылось во многих смыслах, которые излишне перечислять, но все они укладываются в один: в Петербурге нет больше русского народа.

8.11.25

◇ ◇ ◇

Все знают команду *смирно!* и фамилию *Смирнов*. Спросим: что чему предшествовало? Обыватель (а с ним, вероятно, и филолог) убеждён, что *Смирнов* — от *смирно!* — недаром ведь и фамилия Смирнов — самая распространённая, опережает фамилию Иванов на полноздри и, по общему мнению, отражает тот факт, что русские, как бы это сказать по деликатнее, не склонны противоречить приказам.

А я подозреваю обратное. Добрая половина всех русских фамилий — греческого происхождения, взять хоть совсем казалось бы русских Андреевых (фамилий еврейского происхождения много меньше; тут лидирует фамилия Иванов). Вглядываемся в русские летописи и в знаменитый палимпсест, в Слово о полку Игореве, — и нигде слова *смирно* или этого корня не встречаем.

Отсюда мой вывод. Я подозреваю, что фамилия Смирнов — от греческого города Смирна, древнего и поистине великого города, вполне утраченного греками только в 1918 году, в ходе катастрофической их кампании по возвращению исконно греческой (как полагают в Афинах) Малой Азии, когда греки до Анкары дошли, но оттуда были отброшены младотурками — да так далеко отброшены, что удержали только острова, Смирну же, многомиллионный, древний, покрытый славой порт в Малой

Азии, — утратили. Не обсуждаю этой кампании. Осуждаю греческое правительство, в истерике расстрелявшее проигравших кампанию генералов. Я тут только о русской фамилии говорю. Я почти убеждён: она — греческая. Только и всего. А кто сомневается, тому повторю известное: «Вольно, смирно и кругом!»

11.11.25